



Марина ЛОМОВСКАЯ, Тулуза, Франция

Мы не впервые представляем несколько страниц очередного номера нашего журнала творчеству Марины Валентиновны Ломовской. В частности, две её большие статьи о Марине Цветаевой и художнице Лидии Никаноровой были напечатаны в журнале «Симбирскъ»: «В начале жизни», 2017, №7 и «Марина Цветаева и Лидия Никанорова в годы эмиграции», 2018, №1. Напоминаем читателям, что Лидия Андреевна Никанорова (1893 – 1938) биографически связана с нашим городом: с 1909 по 1913 она училась в Мариинской гимназии. Другие статьи М.В. Ломовской на цветаевскую тему публиковались также в журналах «Звезда» и «Новый мир».

От автора:

Марина Ивановна Цветаева (1892 – 1941) гордилась тем, что «родилась еще в XIX веке». Но, по ее словам, «все скоро кончилось»: после детства «лучше сказки», «трагического отрочества и блаженной юности», короткого девичества, «чуда встречи» с Сергеем Эфроном и счастливого раннего замужества, не менее «раннего и страстного материнства» на её судьбу наложились, кажется, все трагедии XX века. «Ее убило то время, – так объясняла А.А. Ахматова в разговоре с дочерью Цветаевой причину гибели её матери, – нас оно убило, как оно убивало многих, как оно убивало и меня. Здоровы были мы, безумием было окружающее...». Этот разговор происходил уже в середине 1950-х гг., когда Ариадна Сергеевна Эфрон вернулась в Москву после 16 лет лагерей и ссылки.

Она сразу занялась собиранием разрозненного архива матери и до 1975 года – то есть до самой своей смерти в течение 20 последних лет жизни она работала над ним, проявляя невероятное



Марина Цветаева с Алей. Париж, 1926



Дом №16 по Мерзляковскому переулку. Фото 1970-х гг.



Закуток в комнате Е.Я. Эфрон (Мерзляковский пер., 16, кв. 27), где поселилась Ариадна после приезда из Франции и где после ареста С. Эфрона жила М. Цветаева с сыном. После возвращения из ссылки А. Эфрон снова нашла здесь приют.

упорство. Благодаря её трудам и настойчивости вышли в свет два сборника стихов Цветаевой – небольшая книга «Избранное» в серой обложке в 1961 г. и синий том в серии «Библиотека поэта» в 1965 г.

Многие исследователи и авторы книг о Цветаевой, которым довелось познакомиться, работать, а некоторым даже дружить с Ариадной Сергеевной, свидетельствуют о чувстве «священной ревности» дочери к памяти и наследию матери.

Самым болезненным образом дочь не могла выносить недостоверных, с ее точки зрения, воспоминаний современников о матери, начавших появляться на Западе в 50-х годах. Она настолько отрицательно относилась к публикациям личных писем матери, что закрыла архив до 2000-го года. Она уходила с тех редких литературных вечеров, организовать которые стоило больших трудов ценителям поэзии Цветаевой в 60-е и 70-е годы, когда кто-то «не так» читал стихи матери: «...«художественное» чтение одной из девушек чуть не довели меня до скоропостиженной кончины – не потому, что они плохи, потому, что я – скотина: как только что-нибудь касающееся мамы не по мне (а тем более не по маме) – теряю не только облик человеческий, но и суть человеческую. Представляете себе, сколько раз мне приходилось их терять за 21 год со дня маминой смерти!» – писала она в одном из частных писем в 1962 году.

За последние почти 20 лет, с тех пор, как истек, наложенный Ариадной Сергеевной, запрет на изучение архива, было обработано и издано множество ранее неизвестных документов. К творческому наследию Цветаевой, вот уже долгие годы неудержимо и неуклонно привлекающему читателей и исследователей, обратились также режиссеры театра и кино, актеры, композиторы, певцы, чтецы. Оно и понятно: притягателен сам облик и личность поэта Марины Ивановны Цветаевой, он так же неповторим и ни на кого не похож в литературной галерее XX века, как не повторима ее формула бытия, которой она следовала всю свою жизнь: «...вовсе не: жить и писать, а жить – писать и: писать – жить. Т.е. всё осуществляется и даже живет (понимается) только в тетради».

Подлинных художественных результатов на сцене и на экране, увы, мало кому удалось добиться. Приходится признать, что не так уж была не права Ариадна Сергеевна и слова ее вспоминаются всякий раз, когда представляют то, что к Цветаевой имеет весьма отдаленное отношение.

Вот почему, не находя адекватного воплощения образа М.И. Цветаевой, глубоко переживая не адекватные, я попыталась на строго документальной основе, оставляя её «за кадром», создать свой собственный.

Предлагаемая пьеса «Москва, Мерзляковский» – просто диалог. Одна совершенно реальная встреча Ариадны Эфрон с писательницей Людмилой Веприцкой, отмеченная буквально двумя строчками как в одной из книг А.А. Саакянц «Только ли о Марине Цветаевой?», так и в книге М.И. Белкиной «Скрещение судеб», дала, как писали в старину, «пищу воображению». Сослужили службу и многочисленные письма Ариадны Сергеевны вкуче со свидетельствами о ней ее современников. Кроме того, я воспользовалась краткими воспоминаниями Л.В. Веприцкой о Марине Цветаевой, которые, по просьбе А.С. Эфрон, она восстановила, поскольку сожгла свои первичные записи 1940 г. Диалог, что естественно, ведется вокруг М.И. Цветаевой, но не только – есть еще много признаков и примет времени.



Марина ЛОМОВСКАЯ, г. Тулуза, Франция

МОСКВА, МЕРЗЛЯКОВСКИЙ

Пьеса для радиотеатра, и не только

Диалог

Действующие лица:

Ариадна Сереевна Эфрон

Людмила Васильевна Веприцкая

Две смежные комнатки (пропорционально 6 и 10 кв. м) коммунальной квартиры: 1 – темная прихожая без окна, где сундуки, столик и где, по словам Ариадны Эфрон, «еще много всяких мелочей вроде Брокгауза и Эфрона» – книги стоят и лежат на полках, нависающих над плоскостью одного лежачего места; 2 – полутемная комната (1 окно выходит в стену), два лежачих места, расположенные на сундуках, на которых – доски и сама постель, между ними стол, стулья, кресло. На стене висят портреты близких, картины, рисунки. Имеется небольшой ломберный столик, на котором стоит увеличенный парижский портрет Цветаевой с Алей.

Ариадну мы застаем за разборкой материнских рукописей на полу перед одним из лежачих мест, из-под которого вытащен сундучок, а из него в свою очередь – чемодан, портфель, где хранятся в течение многих лет тетради – средних и больших размеров, блокноты, фотографии и письма матери. Что-то отобрав, углубившись в чтение, А. переходит к столу. Сидя с карандашом в руках, она расшифровывает материнские записи.

На носу у нее очки, седые волосы забраны в небрежный пучок на затылке.

Снова перебирает пачки писем, не читая, сортирует и складывает. Тут же на столе лежат журналы, большей частью эмигрантские (например, «Мосты», «Новый журнал», «Грани», «Русский литературный архив» и пр.), где начали публиковаться воспоминания современников М.И. Цветаевой о ней. А. просматривает один из журналов, что-то ее возмущает, она, сердясь, небрежно кидает журнал. Идет в прихожую, приоткрыв дверь в коридор, переносит оттуда телефонный аппарат, набирает номер.

А. Нина, здравствуй! Я! В Москве... вырвалась на пару дней и завтра рано утром, слава тебе Господи, назад к себе в Тарусу. Как она сейчас дивно хороша, а здесь я за два дня уже успела намучаться от московских полчищ и столпотворений.

А ты здорова? Ну и хорошо! Прости, давно не звонила, родной ты мой и дорогой человек. Конечно, и я тебе... И именно поэтому у меня к тебе, Нинаша, преогромная просьба. Сейчас скажу.

Держит трубку между ухом и плечом, закуривает папиросу, как на ветру, загородив спичку ладонями, затягивается, выпрямляется, откинув голову, выдыхает дым.

И ты, несомненно, ее всем сердцем поймешь. Я собираю мамино и о маме. Сама чуешь, как время летит и память тускнеет. Надо поторопиться и у времени вырвать все, что только возможно, о маме. Ведь это единственное, что мы можем для неё сделать...

Пауза.

Вот именно, ты меня правильно поняла – ты тоже должна. Запиши, дружок, для меня то, что тебе еще помнится о ней. Ты ведь была последним человеком, видевшим ее накануне отъезда из Москвы...

Пауза.

...хорошо бы записать все, что помнится: начать с того, как и где ты ее видела в первый раз.

Пауза.

Я, когда вас знакомила, ничего и никого не замечала: была вся в счастье и в любви – тебе ли не знать? А из следующих встреч что запомнилось? Из слов, из разговоров? Теперь, Нинуша, каждая мелочь бесценна, и то, что помнишь ты, не помнит уже больше никто. Мама очень полюбила тебя.

Пауза.

Она же мне писала об этом – еще успела написать... Я перечитывала сейчас ее письма – доверенные, потом я ничего не получала – такие живые, домашние, терпеливые...

Пауза.

А потом все записанное и собранное я передам в Литературный музей, и когда по-настоящему наступит мамин час, будущие ее друзья и почитатели найдут о ней живую правду

Прижимая трубку ухом к плечу, закуривает новую папиросу.

Ты пойми, уже сейчас – а что потом будет – одному Богу (или Черту!) известно – возникают о ней всякие «легенды»... сочиняют люди, которые ее мало, а то вовсе не знали, все немилосердно искажают, путают, да просто выдумывают. А выдумывать ее ни к чему. Такую не выдумаешь.

Пауза.

Нет-нет, ради Бога, не задумывайся «как» писать. Всякие подобные раздумья только тормозят. Пиши так просто, как письмо мне.

Пауза, затем настойчиво.

Таруса Калужской области, 1-я Дачная, 15, мне. Целую и жду письма!

Кладет трубку, выносит телефон, снова садится за стол, читает, пишет, затем смотрит на часы. Встает, чуть поправляет волосы. На ее лице нет никаких следов пудры, помады, нет украшений – ни колец, ни браслетов, ни серег. Садится в кресло, подогнув под себя ногу, берет в руки начатое вязание, вяжет.

Несколько равномерных звонков в дверь – как звонят в коммунальных квартирах. Аля откладывает вязание, поправляет простенькое ситцевое платье от Мосивейпрома, которое на ней тем не менее отлично сидит. Выходит из комнаты открывать. Через некоторое время возвращается с более пожилой, нежели она сама, женщиной, в руках у которой коробка пирожных.

А. Проходите, пожалуйста, Людмила Васильевна.

Л.В. (ставя коробку на стол, чтоб не мешала, жмет Але руки) Вот Вы, оказывается, какая, Ариадна Сергеевна, Ариадна.

А. Да, без малого 50 лет, как я – Ариадна. Это имя обычно так коверкают! Наверняка, если бы я была Александрой, все было бы проще и глаже в жизни. Мать ведь назвала меня Ариадной вопреки всем. Ее предупреждали: «Ариадна – это ответственно!». А она: «Именно потому». В общем, имя не из счастливых. Ну и Бог с ним.

Л.В. Вы позволите мне говорить Вам Аля? Дело в том, что Марина Ивановна во время наших бесед именно так Вас называла.

А. Да Вы садитесь! Что же это я Вам, халда такая, даже сесть не предложила (обеспокоенно). А что она Вам про меня рассказывала?

Л.В. Спасибо (усаживает в кресло). Говорила, что Вы – талантливая художница и переводчица. Еще говорила – дословно: «Аля такая блестящая! Очень, очень талантлива и умна». Рассказывала, что у нее был роман с дочкой Алей, когда та была маленькой девочкой и которая любила мать до безумия, а потом, в Париже, лет с 14 начала отходить от нее...

А. Меня она то любила, то разлюбила... Никогда не было простых отношений: мать – дочь. Можно даже просто сказать, что любила меня дважды – в детстве, до 22-го года, то есть до 9 лет, и когда я оказалась в местах «не столь отдаленных».

Л.В. Марина Ивановна говорила, что всю жизнь хранила ваши детские тетради, дневники.

А. Что до детских моих дневников, то правды ради скажу, что берегла она их за документальность записей, которыми иногда пользовалась, когда писала своё. То есть она их берегла не как записи дочери, а как свою записную книжку.

Л.В. Мне кажется, Вы не правы – она так гордилась этими дневниками, гордилась Вами, показывала журналы с Вашими рисунками. Позже кратко рассказала про все то, что произошло сначала с Вами... а через короткое время...

А. ...и с моим отцом. Только спустя год мама нашла в себе силы сделать об этом запись, сидя вот здесь, за этим самым столиком.

Аля отходит в сторону, находит нужную тетрадь, зачитывает фразы, делая очевидные паузы-пропуски в некоторых местах.

Возобновляю эту тетрадь 5-го сентября 1940 г. в Москве. 18-го июня 1939 года приезд в Россию. 19-го – в Болшево, свидание с больным Сережей. Неуют. ...Постепенное щемление сердца.

...Короче:

27-го августа в ночь арест Али. Аля – веселая, держится браво. Отшучивается.

...Уходит, не прощаясь. Я: – Что же ты, Аля, так, ни с кем не простившись? Комендант (старик, с добротой): – Так – лучше. Долгие проводы – лишние слезы...

Закрывает тетрадь, смахивает слезы.

А слёзы – они всегда лишние. Что ж, если мама была с Вами настолько откровенной, называйте меня Алей в ее память.

Садится тоже.

Л.В. (осматривается): А Вы, Аля, значит, здесь, где когда-то и Марина Ивановна с Муром находили прибежище, когда им деваться было совсем некуда. Она мне говорила, что не в состоянии была оставаться на той проклятой даче после всех арестов, переехала сюда и пыталась найти какое-нибудь жилье в Москве. Теперь я сама вижу, как мало места в этой «норке». Отсюда она с Муром в декабре 39-го года приехала в Голицыно.

А. Да и после Голицына ее мытарства с поисками комнаты продолжались. Сначала все же удалось пожить 2 месяца на улице Герцена, а потом опять сюда, пока тетки были на даче. Теперь я узнаю об этом из материнских записей и из ее писем разным людям, которые эти письма сберегли и посчитали, между прочим, своим долгом мне передать. За что я им безмерно благодарна. Вот что мама писала, например, Вере Александровне Меркурьевой.

Берет в руки письмо, читает с паузами.

Москва, 31-го августа 1940 г.

Дорогая Вера Александровна, моя жизнь очень плохая. Моя нежизнь. Вчера ушла с улицы Герцена, где нам было очень хорошо, во временно пустующую крохотную комнатку в Мерзляковском переулке.

Обратилась к заместителю Фадеева – Павленко – очаровательный человек, вполне сочувствует, но дать ничего не может, у писателей в Москве нет ни метра, и я ему верю. Предлагал загород, я привела основной довод: собачьей тоски, и он понял и не настаивал. (За городом можно жить большой дружной семьей, где один другого выручает, сменяет и т.д. – а так – Мур в школе, а я с утра до утра – одна со своими мыслями (трезвыми, без иллюзий) – и чувствами (безумными: якобы безумными, вещими), – и переводами, – хватит с меня одной такой зимы.

Обратилась в Литфонд, обещали помочь мне приискать комнату, но предупредили, что «писательнице с сыном» каждый сдающий предпочтет одинокого мужчину без готовки, стирки и т.д. – Где мне тягаться с одиноким мужчиной!

Словом, Москва меня не вмещает.

Мне некого винить. И себя не виню, потому что это была моя судьба. Только – чем кончится??

Я свое написала. Могла бы, конечно, еще, но свободно могу не.

...мой отец поставил Музей изящных искусств – один на всю страну – он основатель и собиратель, его труд – 14 лет, – о себе говорить не буду, нет, все-таки скажу – я не могу, не кривя душой, отождествить себя с любым колхозником – или одесситом – на которого тоже не нашлось места в Москве.

Я не могу вытравить из себя чувства – права. Не говоря уже о том, что в бывшем Румянцевском музее три наши библиотеки: деда Александра Даниловича Мейна, матери Марии Александровны Цветаевой и отца Ивана Владимировича Цветаева. Мы Москву – задали. А она меня вышвыривает: извергает. И кто она такая, чтобы передо мной гордиться?

С переменой мест я постепенно утрачиваю чувство реальности: меня – все меньше и меньше, вроде того стада, которое на каждой изгороди оставляло по клоку пуха...

Моя беда в том, что для меня нет ни одной внешней вещи, всё – сердце и судьба.

Завтра пойду в Литфонд («еще много-много раз») – справляться о комнате. Не верю. Пишите мне по адресу: Москва, Мерзляковский переулок, дом 16, квартира 27. Елизавете Яковлевне Эфрон (для М. И. Ц.)

Я здесь не прописана и лучше на меня не писать. Обнимаю Вас, сердечно благодарю за память, МЦ».

Откладывая тетрадь.

Господи, как же мама была одинока, если, сидя здесь, писала старой, беспомощной поэтессе, которая сама подрабатывала переводами. Изливала душу и доказывала свое бесправное право на Москву.

Л.В. А кому ей было писать? Мне – постороннему, вообще, человеку, новой знакомой – тоже несколько раз доводилось слышать от Марины Ивановны: «Уж коль впустили, то нужно дать хотя бы какой-то уголок! У дворовой собаки и то есть конура. Лучше бы не впускали, если так...».

А. Пожалуй, она не должна была приезжать. Но судить об этом трудно. Всё это было суждено не нами. Хотите, я Вам сейчас прочту стихотворение – одно из самых выстраданных матерью стихотворений. Она его еще в 1931 году написала – «Страна»:

С фонарем обшарьте
Весь подлунный свет!
Той страны – на карте
Нет, в пространстве – нет.

Выпита, как с блюда, –
Донышко блестит.
Можно ли вернуться
В дом, который – срыт?

Тихий драматизм чтения нарастает по мере приближения к концу.

Той, где на монетах –
Молодость моя,
Той России – нету.

Напряженная, почти мучительная пауза перед последней строкой.

– Как и той меня.

Л.В. Но всё же она поехала вслед за Вами, за Вашим отцом, и Вас, как я поняла, было невозможно остановить.

А. Дело в том, что Франция, которую я очень люблю и которой цену знаю, не могла быть и не была для меня родиной по духу. И я никогда, в самые тяжелые минуты, дни и годы – несправедливо тяжелые! – не жалела о том, что я оставила её. Здесь я всегда говорю и чувствую «мы», а там с раннего детства было «я» и «они».

О, как я первое время в Москве упивалась возможностью просто прогуляться по улице, посидеть на бульваре. В Париже, если носишь юбку, невозможно пройти по улице.

Л.В. Все дело, судя по всему, было в вашей красоте и молодости.

А. Возраст безразличен, важен пол – пристают ужасно... Едва приехала – сразу поняла: я у себя дома, хоть жила я в Москве в общей сложности так мало: до 8 лет ребенком, но сколько же мы с мамой ходили по Москве! Мое чувство родины начинается здесь.

Л.В. Чувства чувствами...

А. ...а деваться на самом деле по приезду, кроме этой комнатки, – было некуда. Да, всех нас тут принимали оптом и в розницу.

Обязаны были, конечно, меня в 1937-м, а потом и маму обеспечить площадью как репатриированных, да нечем было – ничего не строилось. Правда, в 1939-м для меня нашли выход. Лучше бы не находили. Хотя там вообще...

Небольшая пауза, во время которой А. вновь закуривает.

Было интересно. Очень интересно. Только очень долго.

А мать обрекли на скитания в городе, в котором она родилась, который она воспела – у нее целый цикл «Стихов о Москве»: «Москва, какой огромный странноприимный дом...». «У меня в Москве – купола горят»... «Купола – вокруг, облака – вокруг»... «Семь холмов – как семь колоколов»... – много еще! Мало – воспела, мне его в раннем детстве подарила и завещала:

Будет твой черед:
Тоже – дочери
Передашь Москву
С нежной горечью.
Мне же – вольный сон, колокольный звон,
Зори ранние –
На Ваганькове.

Многое мама предвидела и предчувствовала, а тут ошиблась – похоронена она не на Ваганькове, а в богом забытой Елабуге, и никто не может указать, где находится ее могила. А ведь когда мама умерла, там было немало эвакуированных из Москвы. Все эти люди – (кто больше, кто меньше, кто в кавычках, кто без) – «любили и понимали» стихи. И не нашлось ни одного – слышите, Людмила Васильевна, – ни одного человека, который бы камнем отметил безымянную могилу Марины Цветаевой.

От могилы нет и следа. «Так край меня не уберег – мой...» – писала мама. И действительно – так не уберег, что, кажется, хуже не бывает. Если бы я была с мамой, она бы не умерла. Как всю нашу жизнь, я неслась бы часть ее креста, и он бы не раздавил ее.

И Москву мне передать некому: Мур погиб на фронте, дочь моя не родилась и сына у меня нет. Господи! От обычной человеческой жизни меня отучали долгие 16 лет.

Л.В. 16 лет! За эти 16 лет, которые у Вас украли, вполне могли бы родиться внук или внучка Марины Ивановны. Чудовищная несправедливость! Бедная вы моя...

А. *(срываясь на крик)* Умоляю, не жалейте меня! О, простите... Вы не понимаете – как жестока бывает жалость... я не выношу доброту!..

Л.В. Да я понимаю... Аля, какое счастье, что Вам удалось выжить и вернуться...

А. Вернуться – да, но не к себе самой – доарестной, довоенной... той, которой лет еще было совсем немного и все меня за это любили... жила я тогда радостно и на всё грозное лишь дивилась. Такая уж я была молодая и счастливая... К самим себе из того состояния невесомости, которое мы испытали

задолго до Белки, Стрелки и Гагарина, не вернулся никто...

Л.В. Посадить бы тех, кто Вас посадил!

А. Да нет, им это не грозит, живут себе лучше прежнего – посты занимают, судьбами вершат. Как ненавистны мне советские «нувориши». У меня к ним – *классовое* чувство – не забавно ли! Я уверена: если бы Ленин остался жив и был бы окружен такими людьми, как Луначарский, то есть интеллигенцией, по сей день в стране было бы все прекрасно.

Л.В. делает жесты понимания, что их речи могут слышать.

Нет, Людмила Васильевна, не беспокойтесь, никто нас не слышит.

Л.В. Значит, это ваш вывод после всех... испытаний?

А. Что до моих испытаний... *(барабанит по столу пальцами последовательно от мизинца к указательному)* лес рубят – щепки летят. Я никогда не была настолько глупа и мелка, чтобы смешивать общее с частным. То, что произошло со мной, – частность, а великое великим и останется. Я уверена: именно испытания делают человека лучше, чище. У меня и характер-то сформировался, благодаря им. Иначе кем бы я была? Так, литературной или околосредственной дамой.

Не в белых перчатках революцию делают, Людмила Васильевна, я все это еще во Франции знала, из которой бежала, если хотите знать, «от хорошей жизни». И по-прежнему я рада, что живу в такой стране, где нет презренного труда, где не глядят косо ни на уборщицу, ни на ассенизатора. Париж был для меня прочтенной и поставленной на полку книгой. Даже не книгой, а альбомом с открытками. Моя страна, Россия, которая с величайшими трудностями строилась, росла и создавала, меня звала. И я в эту прихожую перед теткиной комнатой – сущую конуру, как видите, – с лёта впорхнула, как во всю московскую жизнь...

И через 16 лет круг замкнулся: из «мест не столь отдаленных» измученной ездовой собакой приползла обратно сюда, а кроме как сюда – мне опять было некуда и сколько ни менялось у меня понятие «дома» за эти годы, а все единственным оставалась Москва, Мерзляковский. Вернулась – тетка тут же прописала меня здесь – в этих самых двух комнатках.

Л.В. Временно или постоянно?

А. Именно, что *постоянно*! А как же иначе могла моя родная тетя – милая, интеллигентная Лиля, которую мама называла «солнцем нашей семьи», меня прописать? Временно? Но это показалось бы ей оскорбительным!

Л.В. А надо было временно! Я о таких делах слышала. Тогда бы считалось, как оно на самом деле, что у Вас нет своей жилплощади, а она Вам положена после реабилитации. И тогда можно было требовать у Моссовета.

А. Но теперь что об этом говорить... В Москве я бываю наездами, когда требуют дела и когда тетки на даче. А так круглый год живу в Тарусе – 100 километров от Москвы – у меня там с недавнего времени есть маленький домик на клочке земли. Это – мамины места, за это я их люблю, и этим они мне дороги.

Л.В. Да, я помню, она говорила, что Таруса ее детства – одно из мест ее души, но это так далеко от Москвы. Вы не узнавали, может быть, можно вступить в писательский кооператив?

А. Еще как узнавала: мне до зарезу нужна целая квартира хоть в Мневниках, хоть в каком-нибудь селе Малые говнюки.

Л.В. Малые?..

А. Ну не Малые, так Большие, на которые Москва равнодушно наступает до страха и ужаса одинаковыми многоэтажными корпусами. Чтоб не метаться, как ошпаренная кошка, между Мерзляковским и Тарусой, чтоб мне было, где пожить интеллигентно – с ванной, ватерклозетом, паровым отоплением и пирожными.

Вспоминает о коробке, принесенной Л.В., ставит ее поближе, достает из буфета и ставит на столик две чашки.

При социализме, одним словом. До которого Таруса не скоро дойдет со своим деревенским бытом, хоть очень она хороша и природой лечит мне душу. Это во-первых.

А во-вторых, разместить архив на просторе, который мы с архивом заслужили, как никто другой. Смотрите сами:

Показывает.

как тут работать: сундучок, на сундучке доски, на досках – матрасик, на матрасике – тетя лежит. И так он хранится с 1941 года.

Материнский архив – главная моя забота и боль! Плачу над ним последними слезами: дай, дай Бог одолеть!

Ведь прежде, чем передать мамин архив в Государственный архив, то есть отдать *другим*... а «как можно, любя человека, отдавать его всем?» – надо подготовить: расшифровать, прокомментировать. Многие могу разобрать и объяснить лишь я одна. Пойду на кухню поставлю чайник и вернусь, хорошо?

Выходит. Пока А. отсутствует, Л.В. развязывает и раскрывает коробку, обходит тесное помещение, рассматривает портреты, рисунки на стенах, корешки книг. А. возвращается с заварочным и большим чайниками. Дальше разговаривают во время чаепития.

Л.В. Совершенно очевидно, что Вам необходима квартира. Вы берите, пожалуйста, пирожные, это лучшие в Москве – из Столешникова.

А. Спасибо большое, чего в Тарусе нет совершенно – так это сладкого. Есть: молоко, папиросы «Прибой», частный сектор короводержателей режет телят и таскает прямо на дом. ...Людмила Васильевна, Вы говорите – кооператив. Чтобы вступить в него, надо сначала вступить в писательский союз, а для этого надо много всего напереводить и опубликовать, да еще должна заработать себе пенсию!.. И добрые люди за меня хлопочут. Чтобы собрать паевой взнос, я должна занять у всех – с мира по нитке – и еще взять в Литфонде ссуду – в отличие от более важных персон, – возвратную, конечную. Словом, уже...

Откусывая пирожное.

...заранее тошнит – не за столом будь сказано – от радости жить в отдельной квартире с великолепным видом на соседний корпус, когда думаю, КАК я буду отдавать эти частные и государственные – Литфонд ведь государство в государстве? а ссуда возвратная?! – долги в почти 2 новых тысячи рублей.

Сколько же мне придется сил и времени положить во имя покрытия квартирных долгов?

Ведь работаю – и работаю до обалдения полного – с 6 утра до 12 ночи двигаю переводы; без выходных – не то что дней, но и часов. Очень помогает приятельница, везущая на себе все хозяйственное – оно пожирает время, память да и всю остальную жизнь.

Л.В. Аля, я Вас очень прошу, у меня сейчас есть деньги... скажите мне, сколько Вам недостает на квартиру, я буду рада Вам помочь.

А. Спасибо большое, в случае необходимости непременно к Вам обращусь и как только встану на ноги, хоть на одну! – верну.

Л.В. Господи, да отдадите когда сможете. Вы такая же чуднѝя, как Марина Ивановна.

А. Да, мать многие считали чудачкой, а она была просто трудным человеком. Кажется мне, одна я на целом свете знаю, каково быть *дочерью* трудной матери!

Л.В. И потом, Вы в отношении архива употребили слово «передать», или я Вас неправильно поняла?

А. Нет, Вам не послышалось.

Л.В. То есть Вы хотите подарить, а не, скажем, продать архив Цветаевой государству, которое погубило всю вашу семью?

А. Передам, но не сразу, а пока сижу на нем, как сторожевой пес... Я хочу как можно больше напечатать Цветаеву – вот это и есть мой хлеб. Одна поэтесса мне уже посоветовала ПРОДАТЬ архив. Я ей ответила, как говорится «мордой об стол»: «Это пусть ваши дочери продают ваш архив». У Вас есть дети, Людмила Васильевна?

Л.В. У меня единственный сын, и он очень тяжело болен.

А. Какая Вы счастливая, что есть сын, даже если он болеет. Ведь когда двое, радость и горе – все пополам.

Л.В. Бывает, что без единой радости, а горя – вдвойне.

А. У меня не осталось ни одного родного человека. Если б мама была жива – пусть старая, пусть парализованная, неподвижная, я не отходила бы от нее ни на минуту!

Л.В. Правда? Я бы, честно говоря, никому не пожелала. В Вас есть какое-то невероятное редкое самопожертвование, да Вы вообще, теперь я вижу, необыкновенный человек. Я так рада, что нам наконец удалось встретиться. Я ведь долгое время не знала, живы ли Вы. Не знала, что с Муром...

А. Пропал без вести в 1944-м. Мне так же неизвестно, где он похоронен, как неизвестны могилы отца и матери. Так что у меня нет ни одной достоверной могилы на всю семью.

Аля встает из-за столика, отходит, закуривает у окна.

Л.В. Я как-то написала Эренбургу про письма Марины Ивановны ко мне – я знала, что у вашей семьи было очень давнее знакомство.

А. О да. Благодаря Илье Григорьевичу наша семья восстановилась в Берлине в 1922 году. После Гражданской войны он сумел отыскать в Чехии папу и передать ему наши с мамой письма.

Эренбургу недавно исполнилось 70 лет, послала ему телеграмму, а потом письмо. В его воспоминаниях, там где о маме, есть неточности, ну и пусть все будет как он написал – мама свое слово скажет и долго будет его говорить.

А вот с отцом – все совсем иначе – об отце сказано не так и недостаточно. То, что он оказался в рядах белых, а не красных – считал роковой ошибкой. Отец был человеком высочайшего мужества, глубочайшей чистоты, несравненного благородства и – поразительного личного обаяния. Он один по-настоящему понимал и любил мою мать; его единственного по-настоящему любила она всю жизнь. «Всё прочее – словесность», то есть горячее для стихов...

Л.В. Ну вот, Эренбург мне сказал, как вас можно найти. Но Вы как будто избегали меня, не хотели встречи...

А. (Прямо глядя в глаза) Не буду скрывать и – главное – прошу понять меня правильно: мне добрые люди посоветовали избегать Веприцкую.

Л.В. Что ж, меня действительно многие сторонятся, но это из-за моего неуживчивого характера, из-за того, что я не умею ладить с людьми.

А. Узнаю породу! Мать всегда предпочитала так называемых «чужаков» обществу «правильных людей». И в дружбе и во вражде всегда была пристраст-

на и не всегда последовательна. А уж заповедь «не сотвори кумира» нарушала постоянно. Если я Вас обидела – прошу меня простить великодушно.

Л.В. Какая обида – о чем Вы! С Мариной Ивановной мы сошлись сразу. Правда, однажды она вдруг спросила: «Вы на меня не донесете?». Я насколько не обиделась, мы жили во времена доносов и арестов. Конечно, она боялась... Мне доверялась, была со мной – мне кажется – предельно откровенной. Слава Богу, что Вы все же поверили одному нашему с Вами общему знакомому, что со мной можно иметь дело.

А. Поверила – да, но в доме вашего знакомого ноги моей больше не будет – не хочу бывать в этих светских и благополучных «салонах» с их комфортным либерализмом, где вдобавок, желая пощелкать знанием Цветаевой, коверкают ее стихи...

Л.В. По-моему, Вы не совсем правы – некоторые из той публики люди поистине героические.

А. У этих героев не только ноги, но и духу моего больше не будет! (Чуть остужаясь) И, скорее всего, – ваша правда – не только потому, что они плохи, а потому, что я – как только что-нибудь касающееся мамы не по мне (а тем более не по маме) – теряю только облик человеческий, но и суть человеческую. Представляете, сколько раз мне приходилось их терять за почти 20 лет со дня маминой смерти!

Л.В. Воля, как говорится, ваша. Слава богу, мы наконец с Вами встретились и нам есть о чем, вернее, о ком поговорить.

А. Да, давайте поговорим о маме поподробней. Как Вы с ней пересеклись, когда, сколько это длилось?

Л.В. С Мариной Ивановной – это было в декабре 39-го и немного в январе 40-го – мы виделись ежедневно, но по времени не больше трех недель.

А. Может, так оно и лучше – уж больно быстро мать доходила до потолка отношений, выше которого собеседнику не прыгнуть – от Эверестов ее чувств у людей делалась горная болезнь.

Л.В. На меня эта болезнь не распространялась – мы говорили на равных. Потом, когда я уехала из Голицына в Москву, она мне написала на первых порах несколько писем.

А. Вы захватили их с собой?

Л.В. Нет, ведь это наша первая встреча, надеюсь, не последняя. Я просто пришла с Вами познакомиться, там видно будет, договоримся.

А. Людмила Васильевна, я всемерно уважаю ваше право адресата писем Цветаевой, не собираюсь посягать на ваши приоритеты, но для меня и для будущих исследователей и биографов Цветаевой было бы правильно снять копии с этих писем. Мне так удивительно, что многие люди и не думают отдавать мне автографы, фотографии, книги Цветаевой... Неужели и Вы из таких?

Л.В. Ну что Вы! Конечно, надо об этом подумать

А. Как трудно мне живется в век любителей по-смертных сюрпризов, кабы Вы знали, Людмила Васильевна, Вы только поймите мои чувства: на Западе начали появляться так называемые воспоминания и их становится все больше и больше – скоро и лопатой не отгребешь, пардон за версальский стиль.

Берет в руки журналы «Русский литературный архив», «Грани», «Возрождение», показывает издалика, не давая в руки Л.В.

Я считаю их попытками с негодными средствами, то есть мелкими, «не в рост» Цветаевой. А еще по Москве давно ходят перепечатанные на машинке какие-то мамины письма, например к Пастернаку, купленные, конечно, ...и я знаю у кого. Подлецы они все – и покупающие, и продающие. У меня в маминых рукописях лежит большая пачка писем самого Пастернака к маме, и никогда, скажем, Лиле или Зине, у которой все хранилось все эти годы здесь, и в голову не пришло прочесть хоть одно из них.

Подумать только, мама, своего угла не имея, его письма, как самое дорогое, сберегла, а он, ужасный растяпа, её письма отдал каким-то «милым людям». Лучше бы он их сжег своей собственной рукой. Боже мой! Мама – вечная моя рана, я за нее обижена и оскорблена на всех и всеми навсегда.

Опять закуривает.

К этой ране теперь добавилась еще одна – за него самого, за Бориса. Даже не рана, а ожог. Вроде бы не болит. А приблизишь к источнику тепла – просто назовешь его имя – и нестерпимо.

У меня к нему всегда было совершенно особое чувство – тут и большая нежность, и гордость за него – да трудно определить словами. Во всяком случае, он мне родня по материнской линии, понимаете? Так что мое чувство к нему плюс ко всему еще и кровное.

Был он мне не только душевной опорой, но и материальным оплотом самых гибельных лет моей жизни. На туруханскую мерзлую землю в 49-м нас с теплоходика сгрузили на верное вымирание: местному населению было приказано на жилье ссыльных не пускать, а организациям – работы никакой не предоставлять.

Л.В. И... как же?..

А. Был у меня с собой чемоданишко да денег рублей 30 – это нынче 3 рубля. И на всю эту «крупную сумму» дала Боре телеграмму. На другой день получила от него телеграфом 100 рублей, сняла угол между обледелой дверью и дымящей печкой у вечно пьяной старухи, пошла в школу мыть полы. Так он меня все годы выручал.

Продолжая курить.

Л.В. Вы тоже много курите, как Марина Ивановна.

А. Да, мать смолоду курила запоем: в России –

папиросы, которые сама набивала – папироса стала неотъемлемым штрихом ее портрета. За границей курила крепкие, мужские сигареты, по полсигареты в простом вишневом мундштуке.

А сама я курила и сигареты, и папиросы, и мох, и опилки, и чай, если удавалось раздобыть! Не брезговала и круговой – когда курево передают изо рта в рот – мужчины и женщины, политические и уголовники... уж теперь до самой смерти не отучусь. Бросала – не бросается, другой раз бросала – опять не бросается. Совсем было бросила, а тут грянула пастернаковско-нобелевская трагедия и – снова задымила.

Приближается первая годовщина её смертельного исхода – все еще слишком грустно. Вы, наверняка, как вся мировая общественность, в курсе. Пока он был жив, и мои ушедшие как-то жили для меня в нем. Теперь-то я уж бесповоротная сирота – кругом осиротела.

Л.В. Вы, конечно, были в Переделкине на его похоронах?

А. Я была там все последние дни его болезни – безумно волновалась, чтобы он не понял, не догадался, что болезнь смертельна... Но на похороны не осталась. Никого не хоронила, никого не видела в гробу – ни маму, ни отца, ни брата, ни мужа и Бору не видела.

Ладонями утирает выступившие вновь слезы, сморкается.

И не было этих комьев о крышку гроба – и смерти их не будет. Люди рассказали, что похороны были изумительные.

Берет свое начатое вязание, сосредоточенно вяжет, стараясь скрыть слезы.

Л.В. Марина Ивановна мне говорила, что Вы великолепно умеете вязать.

А. Спросите меня лучше, чего я НЕ умею! Я не умею только... жить, а так умею тысячу вещей – например, валить лес, шить бязевые подштанники и ватные телогрейки, иллюстрировать книги и писать лозунги, штукатурить дома и печь торты, дрессировать кошек и воспитывать малолетних преступников, чистить дымоходы, переводить с французского и с марсианского (туда и обратно), отличать шампиньоны от бледных поганок и старую курицу от молодой, косить сено и ходить за плугом и т.д. и т.п. ...ну и вязать тоже умею. Так я подрабатывала к маминым тощим и редким гонорарам.

А сейчас вяжу свитер молодой девушке, которую тот же добрый и любвеобильный Боря втянул в путаницу своих дел вслед за ее матерью. И их обеих, едва Бору похоронили, сделали козлами отпущения: почти сразу арестовали мать, потом и дочь. Подловили на деньгах, которые по нашим советским законам им не принадлежат. Теперь обе они в до боли знакомой мне Мордовии, пейзажами которой приходилось любоваться, так сказать, не вплотную, а скорее, издалека.

Девочке свяжу к осени кофтенку, и носки, и ва-режки, пошлю посылкой. Вызывают на допрос – на-девай побольше штанов... откуда ей было знать? Я сама в свое время из дома ушла в белой блузочке и в сандалиях на ремешках...

Л.В. Так Вы вяжете дочери той женщины, о ко-торой ходило столько пересудов по Москве? Осо-бенно среди пишущей братии: кто-то ее считает авантюристкой, кто-то корыстной любовницей, кто-то разлучницей, кто-то секретарем-машинист-кой, кто-то просто непутевой. Я видела её пару раз после войны в «Новом мире» – хорошенькая, слегка увядшая блондинка, многовато краски, маловато вкуса, какой-то перманентный флирт.

А. И «легкость в мыслях необыкновенная»... даже теперь. Вместо того, чтобы перевыполнять план и зарабатывать досрочное освобождение, она строчит заявления во все концы. После всего пере-житого, она не научилась ни выдержке, ни хладно-кровию, ни элементарной сдержанности. У меня к ней отношение было легкомысленным, как она сама, думалось поневоле – когда вообще об этом думалось, – тот ли человек Борису нужен. В чем-то да, а в чем-то нет – им видней и дай им Бог счастья!

Не надо было ей зариться на лишнее в жизни. Брать надо знать *что, когда, где, из чьих рук и для чего*. Не понимала, что, владея невероятным богат-ством – годами взаимной любви, – нельзя владеть и другим. *Морально* нельзя. Что-то *истинное* обе-щенивается. Жаль, что интуиция, гениальная жен-ская замена ума, изменила ей. Лучше бы все силы приложила и сумела легализовать отношения, а то осталась «беззаконной кометой», супругой, так ска-зать, с левой руки на своей высокой... обочине.

Л.В. Но разве это так легко сделать? Говорили, будто бы со слов Ахматовой, что Пастернак из тех совестливых, которые не могут разводиться дважды.

А. Зато могут жизнь на два дома. Непрости-тельно. По мягкости, по безволию, из боязни огор-чить... чтоб всем было «приятно» и более или менее комильфо. Страус и двурушник, царствие ему не-бесное! И оспаривать его сумасбродство и чудаче-ство бесполезно – это было своего рода *право*, за-работанное талантом и личностью.

Л.В. И на эту личность и талант не постесня-лись лить потоки грязи. Жуткая история, от которой сильно потянуло 37 годом, – исключение из Союза писателей, угроза высылки.

А. Вот тут – правды ради надо сказать – эта «непутевая» спасала его как могла от ареста, от вы-сылки, от самоубийства, наконец. В то время как законная семья, оставаясь в стороне, осторожно выжидала и пользовалась теми деньгами, которые передавались через незаконную.

Л.В. Вообще, загнали всем миром Нобелевско-го лауреата в могилу, а тех, кого он любил, – в ла-герь... Вы говорите, что он мог решиться на само-убийство? Что ж удивляться, его жестоко травлили и

в газетах и по радио. При такой безысходности он не мог не думать о Марине Ивановне.

А. Мать в предсмертной записке Муру написала, «что попала в тупик», то есть волей обстоятельств, а Борис сам устроил себе тупик – не надо было пере-давать роман на Запад, сроки не так уж важны для таланта, они бы непременно настали, и в свое вре-мя был бы его роман напечатан и у нас.

Л.В. Если бы человек жил не 60–70 лет, а 200, тогда поэтам бояться нечего. Но Марине Ивановне книжка ее стихов, так же, как Борису Леонидовичу его роман, были необходимы на родине и еще при жизни.

А. Вы правы, конечно. О, они во многом духов-но схожи – как схожи два великих поэта, и в то же время – такие разные. Вообще он был чудом в ее жизни, а она – в его. Я хорошо помню, как в Бер-лине летом 22-го года почтальон принес первое письмо от него из Москвы – большое, стройное в своей сбивчивости, написанное залпом, на одном восторженном дыхании, на тему «Как странно и глупо кроится жизнь!..» и еще на многие темы... Переписка длилась почти 15 лет, достигла апогея в 20-е, потом постепенно сошла на нет.

Нет, Вы подумайте, она берегла все его письма, все, включая обертки от бандеролей, и они сохра-нились без потерь и утечек, потому что ничьи по-сторонние руки, ничье любопытство, небрежность, корысть не коснулась их за эти десятилетия.

А он! Еще до того, как он мамины письма по-терял, он их давал читать, с них без его ведома ког-датосный приятель снимал копии, и вот они, об-росши опечатками, до сих пор циркулируют по Мо-скве... тью, твою мать!

Л.В. Может быть, даже скорее всего, письма не пропали окончательно, кто-то их держит у себя, по-нимая их ценность, и однажды принесет их Вам.

А. Вот этого момента я и жду – и никогда в жи-зни к ним не притронусь, ни к тем, остальным, от других людей, которые она берегла. И после моей смерти пятьдесят лет никто их не прочтет. Я еще – найду время – к юристу схожу, посоветуюсь, как можно запретить публиковать так называемые вос-поминания.

Л.В. Я, Аля, Вам сочувствую но, по-моему, Вы сами себе противоречите. Вы и хотите, чтобы были воспоминания и свидетельства и в то же время – возмущаетесь, что кто-то их уже написал и опубли-ковал.

А. Я пытаюсь бороться не с *людьми*, которые «устраивают» там-сям эти самые публикации, а с *качеством* самих публикаций, с их несверенностью, непроверенностью... А как прикажете мне отно-ситься к обнародованию личных писем, лучше бы они не всплывали вовсе или бы хранились только в моем архиве!

Л.В. Но она сама не хотела из этого делать тайны. Мне, например, всегда очень нравилось стихотворение «Ты запрокидываешь голову – затем что ты гордец и враль...», я решила спросить у Марины Ивановны, кому оно написано, и она мне совершенно спокойно сказала, что Мандельштаму, так же, как и «Никто ничего не отнял» и «Откуда такая нежность?».

А. Ну не могу я свыкнуться с мыслью, что все личное, касавшееся *моей* семьи, становится и неумолимо станет достоянием *всех!* И каждый посмеет судить и рассуждать об *этом!*..

Л.В. Ну не можете же Вы всем современникам Цветаевой, которые сочтут своим долгом написать о ней, говорить, что и как каждый из них должен писать. Получается, что Вы наперед не согласны с тем, что напишут. Какая-то прямо ревность!

А. Называйте как хотите, пусть ревность, но это *священная ревность*. Все в конце концов зависит от того, *откуда смотреть*. Если – изнутри того, о ком рассказываешь, пишешь, вспоминаешь, – то придешь к неизбежной *правде*. Если же – с собственной «колокольни», то любую судьбу можно превратить в вымысел.

Вот и тетка моя Ася, сестра матери, пишет сейчас свои мемуары, показывала кое-что мне – там все так легковесно и многословно, что за этим теряется суть и серьезность. И, Господи, как же все вымазано малиновым вареньем, как глубоко под ним запрятана трагическая сущность вещей и отношений – семейных и прочих. Поэтому я в бешенстве! Хочется, чтобы вышла настоящая Марина Цветаева, которая писала всегда вглубь, а не по поверхности, и ничего не сахаринила.

Чтобы сказать правду о матери, придется мне самой засесть за воспоминания. А для этого надо прожить еще несколько жизней – разве на это можно рассчитывать?

Людмила Васильевна, дело в том, что теперь, когда прошло двадцать лет после Елабужской трагедии, я во что бы то ни стало хочу издать первую посмертную мамину книгу, как бы это ни было больно и трудно. Ведь прижизненную книгу Марины, сданную ею в 41-м году перед началом войны постигла печальная участь – она не вышла.

Вот мамины записи об этом:

Ищет, находит, читает в старой тетради.

Нынче, 3 октября 1940 года, наконец, принимаюсь за составление книги, подсчет строк, ибо 1-го ноября все-таки нужно что-то отдать писателям, хотя бы каждому – половину.

Ну, с Богом, – за свое. (Оно ведь тоже и посмертное.) Но – *Et ma cendre sera plus chaude que leur vie.* – И мой пепел будет горячее их жизни.

24 октября 1940 г.

Вот составляю книгу, вставляю, проверяю, плачу деньги за перепечатку, опять правлю, и – почти уверена, что не возьмут, диву далась бы – если бы

взяли. Ну, я свое сделала, проявила полную добрую волю (послушалась – я знаю, что стихи – хорошие и кому-то – нужные (может быть даже – как хлеб).

Ну – не выйдет, буду переводить, зажму рот тем, которые говорят: – Почему Вы не пишете? – Потому что время – одно, и его мало, и писать себе в тетрадку – Лухе.

Потому что за переводы платят, а за свое – нет. По крайней мере – постаралась.

Откладывая тетрадь.

О, она очень старалась, но книга получила убийственную рецензию и была выкинута из плана Гослита. Потом началась война и было не до стихов. Едва я вернулась из ссылки, сразу же начала готовить сборник. На это ушло почти 2 года трудов, но его постигла та же судьба, что и подготовленную мамой книжку – он тоже не вышел.

Я ведь почти дралась с редактором – из сборника выбрасывали несколько лирических стихов под предлогом непонятности их так называемому среднему читателю.

Редактор, например, выкинула лучшее стихотворение из цикла «Стихов о Чехии», потому что оно называется просто «Германия», а не «фашистская Германия...». В числе выкинутых было одно из лучших стихотворений, которым мама хотела начать сборник – «Писала я на аспидной доске».

Теперь надежда замаячила снова – мамина книжка с чисто цветаевским упорством все же пытается выйти в свет. Но не будем об этом, я, как мать, суверена. Это во-первых. Во-вторых, я разбираю материнский архив. Вот здесь мы и встретились с нею вновь. И я, живая, нема в этой встрече – говорит только она... Я работаю сейчас над её дневниками и записными книжками, и бога молю, чтобы хватило сил довести эту работу до конца...

Л.В. Я понимаю Вас – тяжело читать записи матери, жизнь которой окончилась так трагически.

А. Особенно тяжело переживать узнавание конца ее жизни. По крайней мере, маме не пришлось терпеть все то, что я вытерпела. Последние годы мы были в разлуке, но когда мы были вместе, я жила не более чем *рядом* и была дочерью, а от дочери многое сокрыто. И вот теперь – теперь передо мной бездна. Но необходимо сохранить и восстановить все, что возможно. Прямо мучительно расшифровывать голицынские записи матери, потому что записи эти очень разбросаны, отрывочны, «зашифрованы» так, что нелегко дается понять их смысл. Вот в этой толстой тетради.

Берет в руки «гроссбух»

я обнаружила черновик письма к Вам от 9-го января 1940 г. Дело в том, что в период 1939 – 1941 годов мать никому подобных писем не писала, это лучшее письмо тех лет и дней.

Естественно, меня интересует, сколько еще писем она Вам написала и вообще все, связанное с мамой: как Вы встретились, познакомились, о чем разговаривали, как простились, встречались ли по-

том. Если у Вас, скажем, есть какие-то записи того времени о маме, я Вам буду очень благодарна.

Л.В. Записи о Марине Ивановне я в самом деле вела в 40-м году, но я их сожгла.

А. Вот Вы и попытайтесь их просто восстановить!

Л.В. Не получится, на это у меня нет ни таланта, ни умения. Я – детская писательница, а не мемуаристка.

А. Но есть случаи, когда и неумелый обязан взяться за перо. А любовь и чувство долга способны, нет, даже обязаны, заменить отсутствующий талант. Любые воспоминания, конечно, всегда субъективны и не всегда точны, но это – живое о живом!

Л.В. А знаете, Аля, я все присматриваюсь к Вам – Вы совсем не похожи на Марину Ивановну.

А. О да, я совсем другой породы – я всегда была похожа на отца. Марина говорила, что у меня *ее, Мариной* черты, нет ни одной, кроме общей светлости. Я – целиком в женскую линию эфроновской семьи, вышла родной сестрой моим теткам, сестрам отца. Мы, Эфроны, открытые, общительные, жизнерадостные. Мы – другие.

Л.В. Вы гораздо выше матери, крупнее. Вы так интересная – статная, загорелая.

А. Это не загар, это Сибирь меня опалила, вошла во все мои поры на веки вечные, но... при этом научила любить зиму, породнила меня с зимой, с тишиной, глубиной, простором... Представьте себе – Север меня манит и манить будет... Я еще туда вернусь – это будет своего рода паломничество, чтобы посмотреть на все «по своей и доброй воле», а не глазами вечнопоселенки.

Л.В. У Вас совершенно необыкновенные глаза – недаром Марина Ивановна говорила, что дочь ее похожа на русалку.

А. У матери они тоже были необыкновенные, но совсем по-другому: зеленые, цвета винограда, окаймленные коричневыми веками.

Привычные к степям – глаза,
Привычные к слезам – глаза,
Зеленые – соленые –
Крестьянские глаза!

Л.В. Но я помню не зеленые, а серые, как бы выцветшие глаза Марины Ивановны.

А. Непонятно, как Вы могли не разглядеть!

Л.В. А Вы не думаете, что ваша собственная память больше работает на воображение? Что пережила она во время и после вашего с отцом ареста? Надо было хлопотать о каком-то жилье, кормить Мура, носить передачи. Думаю, из ее глаз проли-

лось немало слез. Но втайне. На людях она держалась, вернее, старалась держаться. В ней чувствовалось сочетание застенчивости, растерянности и гордости.

А. Гордость была ее самозащитой. В нищете и заплеванности чувство священное.

Гордость и робость – родные сестры,
Над колыбелью, дружные, встали.
«Лоб запрокинув!» – гордость велела.
«Очи потупив!» – робость шепнула.
Так прохожу я – очи потупив –
Лоб запрокинув – Гордость и Робость.

Л.В. Да, такой она и была, она оттаивала только, когда чувствовала симпатию окружающих, становилась милой, доверчивой. К ней многие тянулись, но боялись: белоэмигрантка, жена и мать врагов народа.

Некоторые ее чурались, другие поглядывали жалостливо. Но были и такие, которые, узнав, что Цветаева вернулась на родину, сами находили и окликали ее. Так что с кем-то из людей своей молодости она встречалась, переписывалась. Вы сами мне только что зачитывали письмо лета 1940 года к...

А. ...Меркурьевой, Вере Александровне... Людмила Васильевна, умоляю, рассказывайте о маме по возможности все... Ведь я не видела ее с 27 августа 1939 года. Ранним-ранним утром увозила меня эмгэбэшная машина, в это утро в последний раз видела я маму, папу, брата. Много, почти все в жизни, оказалось в то утро «в последний раз»... тихо, без слов и без слез, проводила меня мама... Глупая, я с ней не попрощалась в полной уверенности, что мы скоро с ней опять увидимся и будем вместе. Я никогда не думала, что родители смертны, я никогда не думала, что мама может умереть. Какой она Вам запомнилась?

Л.В. Невысокого роста, сухощавая, с угловатыми, резкими движениями, плохо одетая, впрочем, как и большинство из нас в те предвоенные годы. Только недавно из Европы, из Парижа, но ничего оттуда, все как-то по-нашенски, по-русски, по-советски, плохо пригнано, долго ношено, небрежно надето. Просто надо же что-то носить.

А. Некоторые считали, что она отвергала моду, а на самом деле никогда не было ни малейшей материальной возможности. Нищих подделок под моду она брезгливо избегала. В эмиграции пришлось носить одежду с чужого плеча – с каким достоинством мать это делала!

В вещах превыше всего ценила, конечно, прочность, испытанную временем: не признавала хрупкого, мнущегося, рвущегося, крошащегося, уязвимо-го, одним словом – изящного.

Л.В. Я её запомнила в синем свитере, с короткой стрижкой, с землистым, если объективно, цветом лица. У нее был резко очерченный профиль

А. О да, мать чаще всего запоминалась в профиль.

Л.В. Но запоминался и анфас, только он был расплывчатым, и лица было как бы больше, чем надо.

А. Анфас был всецело от ее русской бабки-попадьи – матери отца. А профиль – чеканный, острый, подобранный – говорит о ее польских и немецких предках со стороны матери.

Л.В. Волосы не седые еще полностью, но утраченные уже свою первоначальную окраску.

А. Зато в молодости волосы были золотисто-каштановые, вились крупно и мягко, но рано начали сесть. Лицо было смугло-бледным. «Светлошерстая», как она сама о себе говорила, а мне писала в лагерь: «С вербочкою светлошерстой светлошерстая сама...».

Л.В. В конце 1939 года я находилась, стало быть, в Доме творчества в Голицыне. За несколько дней до приезда Цветаевой уже все знали об этом. Но в Дом творчества они с Муром должны были только приходить есть – там за столом собирались человек 12–15. Обед – в два, ужин – в семь.

В комнате ей было отказано. Профсоюз писателей снял ей в избе часть комнаты, отгороженную фанерной перегородкой. Электричества в доме не было.

Из Дома писателей по той же самой улице нужно было дойти до самого конца, последний дом справа – с тремя красными звездочками в безвестном переулке, как она сама его называла. Открываешь калитку, проходишь куриный дворик, открываешь другую калитку и левое крыльцо было ее. Комнатка малюсенькая, темная. А в ней, особенно на столе, был хаотический беспорядок: все лежало вперемешку. Но потом стало понятно, что в этом беспорядке есть свой порядок и смысл. Марина Ивановна прекрасно помнила, где что лежит. Была у нее какая-то приبلудная кошка, которую она подкармливала и ласкала.

А. Так всегда было: мама с такой нежностью, верностью и пониманием (даже почтением!) относилась к собакам и кошкам, а они ей платили взаимностью. Если б Вы знали, какая у меня в Тарусе чудная кошка Шушка – ума необыкновенного. Если по радио слышит «село Шушенское» – всегда вздрагивает – все понимает. Только вот очень гулящая, вечно надо ее детей пристраивать.

Берет в руки блокнотик, записывает или зарисовывает за Л.В.

Так Вы говорите комнатенка с перегородкой?

Л.В. Фанерная перегородка, не доходящая до потолка.

А. Постарайтесь, пожалуйста, описать всю обстановку в комнате, ничего не забыть.

Л.В. Стоял, как я только что сказала, стол, который служил и письменным, и обеденным, и кухонным, и партой для Мура. Две койки. Над койками на гвоздях одежда. У печки на веревке просыхало белье. Значит, стол, стул, табуретка, кажется, еще стоял комод. Воду она носила из колодца, пробивая лед, уборная на улице, а морозы в ту зиму 39-40-го года стояли буквально лютые. Электричества – я, кажется, уже говорила – не было. Удалось добыть две керосиновые лампы – это я взяла на себя, хотя директор Дома творчества была этим недовольна, она вообще плохо относилась к Марине Ивановне. Ей принадлежит фраза: «Когда мы строили революцию, они там в Париже пряниками объедались».

А. Пряниками!? Бессменные котлеты из конины – много-много хлеба, мало-мало мяса – неделями, вечный страх перед концом месяца – за жилье платить, я с 9 лет с метлой, всю жизнь в чужих обносках, мне первое платье сшили перед отъездом в СССР, а было мне 24 года... Знала бы она, какими пряниками!

Л.В. Надо же, прошло много лет, но я точно помню, что Марина Ивановна сказала то же самое, что Вы! И вообще, при всей Вашей с ней несхожести, Вы все же чем-то очень на нее похожи. Особенно когда Вы как бы глядите не на, а сквозь и потом еще у меня впечатление, что Вы меня «завораживаете» – я вдруг вспоминаю и рассказываю то, что считала давно забытым.

А. Да нет, я совсем не похожа на Марину, но печать свою она, конечно, на меня положила.

Людмила Васильевна, начните с самого первого раза, как Вы ее увидели.

Л.В. Первый раз я увидела ее в день приезда. Я шла с завтрака и увидела внизу в маленьком переднем зале спиной ко мне сидящую статную женщину, а рядом высокого юношу.

А. Ну что Вы говорите – статная! Вот и Павлик Антокольский пишет, что она была статной, широкоплечей и с «широкими мужскими шагами»! Это к ней совершенно не подходит!

Л.В. Но, может быть, она была такой, какой он ее запомнил в юности, когда Вам самой было... лет шесть – семь, и Вы напрасно на него нападаете?

А. Нет, облик матери был совершенно иным, женственным, она любила платья, являвшие тонкость талии и стройность фигуры... И шаги были не мужские... а стремительные, легкие мальчишечьи. В ней была грация, ласковость, лукавство – как он мог не запомнить?

Мать была невелика ростом – 163 см, широкоплеча, узкобедрата, тонка в талии – как бы с фигурой египетского мальчика. Походка легкая и быстрая, осанка строгая и стройная: даже над письменным столом она хранила «стальную выправку хребта».

Берет в руки портрет матери, вглядывается в него.

Черты лица точны и четки – никакой расплывчатости, ничего недодуманного мастером. Лицо было полно постоянного внутреннего движения. Но мало кто умел читать в нем.

Ставит на место.

Л.В. Мы познакомились: рукопожатие у нее было мягкое, но крепкое, энергичное. Широкие серебряные браслеты на руках. Кольца... Кстати, о кольцах. Марина Ивановна как-то бросила вскользь: «Я никогда с ними не расставалась, даже в самые трудные времена! Дарить – дарила. Продать – никогда». Но все эти украшения не украшали ее, не делали более женственной, они были как-то сами по себе, она – сама по себе, и, пожалуй, кольца только подчеркивали грубость ее рабочих рук, привычных к стирке белья, чистке картошки, мытью полов, а вовсе, казалось бы, не к перу...

А. Как я с самого раннего детства любила эти руки – крепкие, деятельные, трудовые. Перстни, вы правы, не украшали, а естественно составляли с ними единое целое. «И сотню – на руке моей рабочей – серебряных перстней...». Продолжайте, пожалуйста, извините, я Вас перебила.

Л.В. На следующее утро после приезда Цветаева с сыном пришли на завтрак. Она шла впереди с горделивым достоинством, за ней – Мур – рослый, довольно красивый мальчик. Они подошли и сели в середине стола на свободные места и Марина Ивановна сразу стала центром всеобщего внимания. Она была несколько резка в суждениях, за столом говорила громче, чем в комнате.

А. Вы заметили, что голос ее был девически высок, звонок, гибок. Речь – сжата, реплики – формулы.

Л.В. Да, голос, несмотря на то, что много курила, был свежий, прелестный, чисто московский. Многое потускнело в памяти, но удивительный голос Марины Ивановны живет и звучит. Некоторые из ее формул запомнились. Она дала прочитать свою прозу об актрисе Сонечке Голлидэй мне и еще Лизе Тараховской. Мне эта вещь очень понравилась, я об этом сказала Марине Ивановне, а Лиза спросила: «Как Вы можете писать о благоговении и почти влюбленности актрисы Голлидэй? Мне это кажется нескромным». Марина Ивановна ответила: «Я имею на это полное право, я этого заслуживаю».

Да, кстати, читая про Сонечку, было очень интересно узнавать про Вас маленькую и про то, как Вы, вернувшись в Москву, пошли разыскивать по сонечкиным следам.

А. О, я всегда понимала, чем была Сонечка для мамы, и если бы она об этом чуде в ее жизни не написала, то никто бы о Сонечке никогда не узнал. А кто Сонечку знал – или уже умер, или забыл, или из жизни навсегда вычеркнул. Да, кстати, был один очень известный актер, который хоть и умер, но не забыл и даже немного о ней написал.

Идет к книжным полкам, смотрит на столике, снова к полкам, находит книгу.

Вот издали Яхонтова «Театр одного актера» – Лиленьке пару лет назад подарил кто-то из театральной братии. Вы же знаете, что моя тетя – театральная режиссер, что у нее много учеников-актеров. Каких только студийцев она в этой каморке не принимала! Между прочим, Митя Журавлев – её любимый ученик, они еще в то большевское лето до всех несчастий вместе приезжали на дачу, Митя читал отрывки из «Войны и мира». Может, он эту книжку и подарил. Стала я как-то её перелистывать, отдыха ради, вдруг взгляд за что-то такое родное зацепился: «Боже мой! Сонечка!»

Перелистывает страницы, пытаясь найти нужный текст.

Вот, слушайте, это в главе «Петербург»:

«...разрешите мне вернуться в прошлое, вспомнить Вторую студию Художественного театра.

Была в этой студии Софья Евгеньевна Голлидэй, очаровательная актриса, едва заметная от земли. Л.В. Гольденвейзер на руках выносил ее на сцену в розовеньком платьице с крапинками, усаживал в большое широкое кресло и сам бежал давать занавес. А Сонечка Голлидэй, помолчав минутку, начала читать монолог Настеньки из «Белых ночей» Достоевского. Это было самое талантливое, самое яркое, что мне приходилось в те годы видеть или слышать во Второй студии.

Бытом уютным и теплым веяло со сцены от этого розовенького ситцевого платьица с крапинками. Это напоминало настоящие, ароматные китайские розы, которые каждое утро поливала Настенькина бабушка у себя на Васильевском острове.

Думал я долго и не знал: можно ли и теперь так интимно читать со сцены? Сонечка Голлидэй очаровала меня в роли Настеньки. Подчиняясь ее обаянию, отбросив сомнения, я сделал попытку воскресить ее образ, ставший зерном Настеньки в моем «Петербурге».

Маленькая пауза.

...Сонечка исчезла из студии, и никто не мог вернуть ее, даже Константин Сергеевич, который написал ей в Симбирск увещательное письмо».

Откладывает книгу.

Вот и все у Яхонтова о Сонечке, но и этого немало.

Л.В. Так её занесло в Симбирск? Или, как теперь он называется, в Ульяновск?

А. Да, я тогда в 1937-м не стала маме в письме уточнять, но мне сестра Сонечкиной подруги рассказала, что именно в Симбирск Вторая студия летом 1919 года была приглашена на гастроли. Там у Сонечки был невероятный триумф – ей аплодировали все, как маме в Москве в революцию на ее чтениях стихов – и революционеры, и котрреволюционеры, и солдаты, и офицеры, и интеллигенция. Там, в Симбирске, сам Вахтангов представил ее какому-то комбригу, она в него влюбилась, в Москву не вернулась, всё бросила, ну а комбриг бросил её... Подписала она на сезон контракт с Симбир-

ским театром, начала на опыте узнавать, что такое провинциальный театр – да еще в войну, когда и голодно, и холодно, и брюшняк народ косил. Посылала безумно тоскливые письма подруге, мол, как бы вырваться снова в Москву, да поздно: Вахтангов умер, Станиславский не отвечал...

Но все-таки нашелся добрый человек – сам актер и режисер, который Сонечку полюбил, оградил, как мог, от тягот жизни. Стали они кочевать по другим провинциальным театрам, подруге она писала, что подписывала не контракты, а самые настоящие смертные приговора и ехала на каторжные работы... то в Архангельск, то в Харьков, то в Самару, то в Сибирь. В то самое время, когда мама кочевала с нами по пражским и парижским пригородам, из сил выбиваясь, чтоб мы были сыты и здоровы, и всегда продолжала писать.

И мама, и Сонечка были невероятно талантливы, но им довелось жить в такие времена, что никому они со всеми их талантами не потребовались – и маму, и Сонечку преследовала судьба, или, как мама говорила, русская «не судьба».

И что интересно – я маленькая была, но запомнила: они отлично друг друга понимали, говорили на одном языке, обе были абсолютно ни на кого не похожи!

Л.В. Про Сонечку, которую я лично не знала, сказать, конечно, ничего не могу, но Марина Ивановна – ваша правда – была необыкновенным существом, к которому все обычные мерки неприменимы. Запомнился мне, знаете, еще один разговор. Я спросила: «Марина Ивановна, неужели вы в эмиграции не скучали по России?».

Она ответила: «Моя родина везде, где есть письменный стол, окно и дерево под этим окном» и прочла великолепное стихотворение про тоску по родине – слов, разумеется, не помню.

А.

Тоска по родине! Давно

Разоблаченная морока!

Мне совершенно все равно –

Где совершенно одинокой

Быть, по каким камням домой

Брести с кошелкою базарной

В дом, и не знающий, что – мой,

Как госпиталь или казарма...

...Эти стихи, конечно... А Вам запомнилось, каким мама была блестящим рассказчиком!

Л.В. О да, с теми, кто был ей мил, Марина Ивановна любила поговорить, говорила интересно, подчас весьма язвительно. Помню ее импровизированные, совершенно блестящие, беспощадные наброски портретов писателей, с которыми она была знакома. В ее рассказах чувствовалась хватка мастера. Воодушевлялась, когда рассказывала о Бальмонте. О Бунине говорила нехотя, с явным неодобрением, но отметила, что очень дружила с его женой, переписывалась.

А. А я Бунина люблю. Я вообще в литературе люблю «злые» таланты – Толстого, Бунина. С Буниным – живым – я простилась в 1936 г. на Лазурном побережье в нестерпимо жаркий июльский день.

Знаете, что он мне сказал? «Ну куда ты, дура, едешь? Ну зачем? Ах, Россия... Куда тебя несет?.. Тебя посадят...»

– Меня? За что?

– А вот увидишь. Найдут за что. Косу остригут. Будешь ходить босиком и набьешь верблюжьи пятки...

– ?! Верблюжьи?!

А на прощанье:

– Христос с тобой – и перекрестил. – Если бы мне столько лет, сколько тебе, – пешком бы пошел в Россию, не то что поехал бы, и пропади оно все пропадом!..». Были и «верблюжьи пятки», и голова, стриженная под машинку в тифу...

А Вы замечали, как мама умела не только говорить, но и слушать; никогда не подавляла собеседника, но в споре была опасна: при леденящей учтивости могла молниеносно сразить ответом.

А как она читала стихи! Не камерно, а как бы на большую аудиторию. Читала охотно, доверчиво, по первой просьбе, а то и не дожидаясь ее, сама предлагая: «Хотите, я вам прочту стихи?». Самое сложное мгновенно прояснялось в ее исполнении.

Л.В. Не всем, не все и не всегда. Многим не нравилось, когда она читала свои поздние стихи и поэмы, написанные в эмиграции, – слишком они были трудны для понимания. Иногда после чтения возникало неловкое молчание. Она в свою очередь обижалась, когда ее просили почитать из прежних стихов. Говорила: «Старье, не хочу».

Однажды один литератор – переводчик с польского просто хотел поближе познакомиться с Мариной Ивановной, ну прочел ей в моем присутствии стихотворение из «Волшебного фонаря» «Мы слишком молоды, чтобы простить...». Она сразу стала строгой и сказала, что ей нужно уйти. Мы поднялись ко мне. Я спросила, почему она рассердилась. Она сказала: «А как бы Вы отнеслись к тому, если бы Вам в нос сунули Ваши пеленки?». Я возразила, что стихи не такие плохие. На это она посетовала, что ее знают лишь по первым сборникам, то есть не лучшим стихам, и это ей обидно.

А. Всю жизнь она обижалась – ей нужен был быстрый и непосредственный отклик на ее стихи. Потребность была слишком велика и потому так и осталась неудовлетворена. Отсюда и ее стихотворение «Тебе – через 100 лет», отсюда и еще одна её запись: «Я ведь знаю, как меня будут любить (читать – что!) через 100 лет!».

Л.В. Вообще чаще всего после ее чтения стихов воцарялось молчание, но не всегда это было недолгое молчание – чаще это было восторженное молчание. Однажды вечером в столовой осталось несколько человек, особенно ценивших стихи Марины Ивановны, и она прочитала две свои гениальные поэмы – «Поэма Горы» и «Поэма Конца». Я как-то решила спросить, а кто же герой Поэм, она назвала имя, но оно не удержалось в памяти.

А. А зачем спрашивать? Поэт дает людям не «интимную жизнь», а всю громадную силу творчества, а им важно – грешила ли Гончарова с Дантесом, в каких дозах «обижала» Софья Андреевна Тол-

стого, кому посвящены поэмы «Горы» и «Конца» и как на это смотрел муж... Люди не понимают *любви*, хотя нет ничего, о чем бы они рассуждали с большей охотой.

Мама зачеркивала *причину* возникновения стихов. Пусть он и останется Героем Поэм. Недавно – с оказией из Парижа – прислал мне письма матери к нему. Я их тут же запечатала наглухо – сама никогда не прочту и другим, пока жива, – не дам. Да еще после моей смерти навеки в архиве запиру (*распалаясь*) не мое, да и ничье это дело...

Л.В. (*пытаясь отвлечь от трудной темы*) Как я уже говорила, многие к ней тянулись, но боялись, поэтому она в Голицыне мало с кем общалась. Да и времени не было: она много работала – переводила с грузинского поэму Важа Пшавела.

А. Всегда так было, что работе она умела подчинять *любые* обстоятельства.

Л.В. Она терпеть не могла эту работу, но работала ответственно и скрупулезно, делала по много вариантов.

А. О да, талант трудоспособности и внутренней организованности был у нее буквально равен поэтическому дару.

Л.В. Ей приходилось отрываться от работы – ездить в Москву по своим и вашим делам, потом, Вы это знаете, она начала составлять сборник собственных стихов, хотя особых надежд на издание не питала. Писала свою автобиографию для какого-то словаря – читала мне вслух, советовалась, слишком много было в ее биографии такого, о чем лучше было бы умолчать – настолько это не соответствовало облику советского поэта.

А. Увы, как и многое-многое другое, написанное матерью, ее автобиография не была напечатана – словарь писателей не вышел. Но по ходу этой работы сочинялись и навеки вмуровывались в рабочие тетради строки начатых, но так и не законченных стихов.

Л.В. Она физически не могла все успеть, да и сильно мучили бытовые проблемы – волновалась, что хозяйка перестанет топить и надо будет добывать дрова. Хоть от готовки она была избавлена.

А. Она ненавидела быт – за неизбежность его, за бесполезную повторяемость, за то, что пожирает время, необходимое для основного.

Я, например, знаю, что, если надо вымыть кастрюлю, я ее замочу и легко потом вымою. Она же из этой кастрюли устраивала целую трагедию: «Я должна мыть кастрюлю, а создана писать стихи!» У нее есть запись-жалоба, сделанная еще на даче в Болшеве, среди лермонтовских переводов, про ее чувство жути, про одиночество, ручьи пота и слез в посудный таз. А ведь там, в Болшеве, посуду мыла я, провизию покупала и привозила из Москвы я... Какую посуду она могла мыть? Была вообще чудесная атмосфера, было хорошо, так что ее слезная запись вовсе не соответствует действительности...

Л.В. Однако дальнейшие события оправдали не Ваши ощущения, а её предчувствия. Посуду в Голицыне ей мыть не надо было, но как же ей было трудно с Муром – в ту зиму он беспрестанно болел, она над ним ужасно дрожала, баловала как могла.

А. Так было всегда. У мамы есть запись, сделанная в Чехии, сразу после его рождения: «Мальчиков нужно баловать, им, может быть, на войну придется». Как в воду глядела.

Л.В. Мур был довольно красив. Когда не болел, ходил учиться в голицынскую школу. Прекрасно знал литературу. Но с математикой дело было плохо, и Марина Ивановна нанимала ему репетитора. Деньги давала я. Вообще деньги явились одной из причин, почему после Голицына мы не встретились. Во-первых, я не знала, где ее искать, а самое главное, что Марина Ивановна подумает, будто искала я ее из-за денег.

А. Значит, в основном Вы с ней виделись в столовой за обедом и ужином?

Л.В. Не только. Иногда она поднималась ко мне в комнату, правда, ненадолго. Перегородки между комнатками были тонюсенькие – в соседней комнате было слышно, как перья скрипят. Заходила, чтобы пригласить с ней погулять, когда голова «тупела» – ее слово – от работы и тяжелых дум. Ее домишко стоял на краю поселка, а дальше начинался заснеженный березовый лес.

Разговор часто был сильно сдобренный горечью ее положения. Рассказывала о муже, о Вас, о Муре, о Чехии, о Париже, о Пастернаке. Обо всем вразброд и поверху. Но однажды мы провели вместе часа два или даже три у нее в комнатке – и это был настоящий пир – разговор обо всем, что ее волновало, и вечер её воспоминаний одновременно.

Обычно обо мне ничего не спрашивала. А если и спрашивала, то слушала рассеянно. Иногда говорила на отвлеченные темы: «К чему все? В чем смысл всего?». Создавалось впечатление, что в ней все время шла какая-то переоценка ценностей. И все же мне кажется, больше всего прогулки ее как-то немного успокаивали, приносили покой на короткое время.

А. О да, с природой была связана воистину кровными узами, любила ее – горы, скалы, лес – языческой обожествляющей любовью. Особенно деревья.

Л.В. Однажды мы гуляли по лесу. Почему-то Марина Ивановна сказала: «Такой народ, как наш, который живет в таком климате, заслуживает более мягкого правительства». Иной раз при встречах мы просто молчали. Как-то зашел разговор об Ахматовой. Говорила одна Цветаева. Сказала, что очень хотела бы повидать ее. В конце произнесла: «Если умру, скажите, что я ее любила».

А. Им удалось повидаться. Мне об этом рассказала сама Анна Андреевна. И еще мне сказала, чтобы я не верила в легенду, что Марина покончила с собой, якобы заболев душевно, в минуту душевной депрессии. Ее убило то время, как оно убивало и её, Ахматову, как оно убивало многих. Они обе были

здоровы – безумием было окружающее.

«Если я умру...». Сколько же раз в своей жизни мать примеряла смерть! Сколько сама себе написала эпитафий, начиная с совсем юного возраста.

Людмила Васильевна, сейчас постарайтесь вспомнить, пожалуйста, вот что: как, когда и от кого Вы узнали о смерти мамы? Не было ли какого-нибудь предчувствия, знака, который бы Вас насторожил?

Л.В. Нет, дорогая Аля, никакого мистического указания с неба не было и, я так думаю, оно не существует. Во всяком случае, для меня.

А. Возможно, Вы и правы, но не в мамином случае. Мама – вся признаки и приметы. Так и разговаривает со мной по сей день. Не пугайтесь, это не мистика.

Знаете, как-то, уж года три назад, зашла на минутку к Эренбургу по делу, потом меня позвала его жена и говорит: Не верю я в предчувствия, приметы. А ведь бывает что-то такое в жизни. Давным-давно, еще до отъезда из России, Марина подарила мне браслет, и носила я его всю жизнь (и тут же, простодушно): не потому, что мне его Марина подарила, а просто он был мне по руке и нравился. Браслет серебряный, литой, тяжелый – сломать такой немислимо. И вот как-то – захожу в магазин, и что-то со звоном падает на пол; смотрю – у моих ног половина браслета, вторая осталась на руке. Подняла, посмотрела, через весь браслет – косой излом. Сломался у меня на руке! Стало мне как-то не по себе, волей-неволей запомнился этот день, число – 31 августа 1941 года.

Мне и Ахматова показала свое кольцо – гемма в серебряной оправе, в гемме – трещина. Анна Андреевна сказала, что любимые вещи иногда предупреждают о горе – гемма дала трещину в день смерти ее мужа или накануне этого дня.

Л.В. Что же, если Вы такими вещами интересуетесь, Вам будет интересно узнать. Там, в Голицыне, под Новый год Марина Ивановна поднялась ко мне на второй этаж. Постучала. Я читала в это время томик Тютчева. Я сказала: «Войдите» и заложила пальцем книгу на читаемом стихотворении. Палец лег на строфу:

Дни сочтены, утрат не перечеть,
Живая жизнь давно уж позади,
Передового нет, и я, как есть
На роковой стою очереди.

Марина Ивановна попросила показать ей заложенное место, прочла строфу и сказала: «Это про меня, ведь я постучала к Вам, и Вы сказали, чтобы я вошла. Поэтому эта строфа непременно относится ко мне.

А. Господи, как это похоже на нее! Как-то одна моя подруга – Лида Бать, тоже писательница, Вы ее не знаете?

Л.В. Имя слышала, но мы незнакомы.

А. Она вспомнила один рассказ Веры Инбер про маму: в первые годы революции они где-то вместе

встречали Новый год – гадали по Лермонтову. Маме вышло – «а мне два столба с перекладиной». Потом вместе возвращались. Темными снежными улицами, разговаривали, смеялись. Мама вдруг замолкла, задумалась и повторила вслух: «а мне два столба с перекладиной...»...Значит, Новый – 1940-й год – Вы встретили вместе с мамой?

Л.В. Встретили вместе со всеми тогдашними обитателями Дома творчества. Слушали по радиобой курантов на Красной площади.

А. Я тоже слышала бой курантов, но не по радио, а живую – в камере на Лубянке, ведь это совсем рядом от Кремля.

Напевает.

Централка – там море света и огня.

Централка – за что сгубила ты меня...

А знаете, почему там «море света и огня»? Потому что свет никогда не гасили – спать не давали. В эту ночь – новогоднюю – ко мне не применяли «недозволенные методы ведения допросов». Я даже сделала торт из печенья, которое купила в ларьке на те деньги, что передавала мама. Вместо крема растерла масло с сахаром и угостила всех моих сокамерниц.

Все дела – и их, и мое – были так плохо скроены, да крепко сшиты. В ту пору, хоть и в тюрьме, я была еще очень счастливая.

Л.В. ???

А. ...что вернулась в Россию, что у меня был муж. Такой, который даруется единожды в жизни, да и то не всякой! Я любила его вначале, очевидно, потому, что он меня любил. Потом потому, что сама не могла не любить. Потом нас «судьба разлучила». Как я жалела, что не было от него ребенка. Я готова была хоть в тюрьме родить – только бы сын от него! И полная грудь веры, надежды, любви, несмотря ни на что, поверх всего. Несмотря на сверженные обстоятельства.

Л.В. Я знала от Марины Ивановны, что у вас был жених, или даже муж. Он очень самоотверженно помогал ей и Муру. Однажды Марина Ивановна сказала: «Какое коварство! Алю, Алю арестовали! Она была такая счастливая!», а потом добавила: «Если я буду счастливая, напишу «Свадьбу Ариадны». Извините, Аля, Вы говорили, что Вы совсем одна...

А. Да, «Свадьба Ариадны» не состоялась, не написалась. Первые годы разлуки получала много помощи и писем с подписью «твой муж», а увидеться мы смогли уже после Победы – он приехал ко мне летом 1945-го. Я не почувствовала ни пропасти, ни даже трещины между нами, ...я не почувствовала, а от него письма перестали приходить...

После того, как я отсчитала копеечка в копеечку свой первый срок – восемь лет лагерей, надо было начинать все заново, начинать одной, совсем одной... Встретились-то с бывшим мужем (к сожалению, бывшим, ибо ничто не вечно под луной, а

тем более мужа!) тепло и по-дружески, но ни о какой совместной жизни думать не приходилось, он по работе своей и по партийной линии был связан с Москвой, а я – я очутилась в Рязани, где меня приютили друзья. Без специального разрешения ездить в Москву было опасно, но я наведывалась иногда. Повидаться с ним было очень мило и немного грустно. Есть в жизни стенки, которых лбом не прошибешь... а спустя время наступило самое главное: мне от человека нужно стало, не чтоб он любил меня – (ждала меня, сулил мне) – а просто, чтоб он жил на свете.

Л.В. Что же, живет?

А. Его расстреляли в последние дни Бериевского царствования, в июле 1952-го, накануне падения всех этих колоссов на глиняных ногах... Газеты в Туруханск приходили с большим опозданием, но я – человек грамотный и жадный до печатного слова – их тщательно читала. Еще бы немножко дотянуть, и остался бы жив человек. Я в ту пору разменяла третий год моей «вечной» ссылки, в Рязани меня в 49-м снова арестовали. Мать предупредила меня об этом: я ее 17 февраля видела во сне, она мне сказала, что придут за мной 22 февраля. Что дорога моя будет вначале трудная и грязная, но «это весенние ливни», сказала мне мама, «потом дорога наладится, и все будет хорошо...». И 22-го за мной действительно пришли.

Л.В. Но это же носилось в воздухе! Повсюду ходили упорные слухи, что сажают повторно.

А. О нет, это был не единичный случай, Марина являлась мне в сновидениях не раз и то подбадривала меня, то утешала, когда иссякали последние силы и жить становилось невмочь... Сны часто сбывались и сбываются и в большом и в малом. И во всех этих снах так или иначе присутствует мама, она как бы продолжает из своего небытия направлять.

Чтобы перенести все, что выпало на мою долю, нужна была вера в Бога, а я не верила, не могла, не умела верить. И от этого мне было еще тяжелей! Но в существование чего-то, чего наш разум не может еще постичь, что находится за пределами нашего сознания, – я верю...

Пауза, во время которой обе курят.

Л.В. Аля, дорогая, мы видимся впервые, но у меня чувство, мы знаем друг друга много лет, что мы близкие люди. Вы еще молоды...

А. А Вы с какого года?

Л.В. Я родилась в 1902 году.

А. Интересно: Вы на 10 лет моложе мамы и на те же 10 календарных лет старше меня, но я – старше Вас – на целых 16 лет.

Л.В. Вы правы, но я чувствую себя старой и меня – просто наваждение какое-то – неотступно преследует мысль о моем сыне – что будет с ним, когда меня не будет?

Вы одиноки, Вы так хотели сына... пусть мой сын станет Вашим сыном... В случае моей смерти,

Вы могли бы взять на себя заботу о нем? Разумеется, со всем тем, что мне удалось скопить.

А. (потрясенная, в совершеннейшем изумлении) Я? Заботу о вашем больном сыне? Я сама еле тяну и вряд ли вытяну... У меня пренеприятные мозговые явления, вплоть до того, что вчера вечером просто упала на улице – стало так страшно. Не ровен час помрешь – чего хитрого? И оставишь эти сокровища беспризорными. А ведь нельзя. Ведь и у меня дня не проходит, чтоб я не думала – если заболело так, что буду недвижна, кто будет рядом со мной...

Пытаясь перевести разговор.

Людмила Васильевна, а что, мамины письма – в самом деле Вы их не взяли с собой?

Л.В. Но мы видимся, надеюсь, не последний раз! Мы созвонимся или спишемся, договоримся о встрече, Вы подумаете над моим предложением, может быть, при размышлении, оно не вызовет у Вас такой резкий отпор...

На чем мы остановились? Ах да, на той новогодней ночи. Мы все собрались в голицынской столовой. Там даже поставили елку. Марина Ивановна тогда как раз очень увлеклась Евгением Борисовичем Тагером.

А. Не думаю, что Вы употребляете нужное слово. Да, мать многими увлекалась в молодости, но из Франции она приехала иная, чем я ее знала. Она рассталась с молодостью сознательно. Стала ходить в более темных, чем раньше платьях, низко и некрасиво повязывать косынку на почти сплошь седых волосах, носить очки. Еще в ней была какая-то величайшая, непривычная нам тишина.

Л.В. Нет, Аля, она именно была им увлечена – как она преображалась в его присутствии! Знаю, что Марина Ивановна своей рукой специально переписала для него «Поэму горы», он написал ей какие-то шуточные стихи, были и маленькие подарки. Уверена, если Вы его разыщете – а это не трудно, он довольно известный критик-горьковед, то у него найдутся ее письма – в своих письмах ко мне она упоминала о своих чувствах и письмах к нему.

А. К Тагеру мне вовсе не хочется обращаться. У меня сохранилось слишком много маминых рукописных обид в ее тетради на него и на его жену. С мнением об абсолютной дружественности и самоотверженности этой четы по отношению к маме никогда не соглашусь. Послала к ним все же надежного человека – моего друга и помощницу по всем цветаевским делам – понадеялась, что поделятся хотя бы копиями. Но на это не было даже намека, там лишь хвастливо прочли отрывок из одного письма, Впрочем, звали приходиться, но мне это не нужно.

О, мама... Часть ее дружб и большинство ее романов являлись по сути дела повторением романа Христа со смоковницей... Кончалось это всегда одинаково: «О как ты обидна и недаровита!» – восклицала мама по адресу очередной смоковницы и шла дальше, до следующей смоковницы. Она чересчур

горячо увлекалась людьми, слишком наряжала в качества и достоинства, которыми они должны были обладать. Мама за всю свою жизнь *правильно* поняла одного единственного человека – папу, то есть *понимая*, любила и *уважала* всю свою жизнь. Отец не намного пережил мать, и каждый из них ничего не знал о смерти другого. «Так вдвоем и канем в ночь: Одноколыбельники».

Мои тетки и, главное, мой муж, из чувства жалости, конечно, долго скрывали от меня смерть мамы. Но в конце августа 41-го несколько дней подряд мне среди стука и гула швейных машин нашей мастерской всё чудилось, что меня зовут по имени, так явно, что я всё отзывалась. Потом прошло. Это она меня звала.

Л.В. А я о ее смерти узнала от кого-то из писателей. Помню, что была большая комната, много народу. Тогда, в начале войны, люди толпились в издательстве, чтобы узнать какие-то новости, понять, эвакуироваться или остаться в Москве. Кто-то сказал: «Вы слышали, повесилась Марина Цветаева!». Помню жуткую тишину, наступившую в комнате.

А. Странно, странно все: нет у меня чувства *смерти*, наверное, потому, что всю жизнь прожила так, что кто-то у меня был «за границей». То я – во Франции, а Россия – по ту сторону; то я – в России, а весь прочий мир – по ту сторону. То лагерь, то ссылка – и опять все и вся – за чертой. И как-то подсознательно смешались понятия рубежей, и многие ушедшие стали живее многих живущих... живущих ли?

Я Вам, Людмила Васильевна, вот что хочу объяснить: я потеряла всех своих по-настоящему родных и по-настоящему друзей; их было мало (*их всегда* – мало!), и они – незаменимы и невозстановимы. Я – разумом – знаю, что их нет в живых, а душой – не знаю и знать не хочу (это без всякой мистики, само собой разумеется). Мое последнее богатство – оставлять их *для себя* в числе живых и не заставлять себя *физически* верить в то, что их *физически* в этом числе нет.

Наверяд ли все это внятно и вряд ли для Вас – логично и убедительно. Да и для меня самой никакой *логики* в этом нет; как ее нет и в самой жизни. И тем паче в самой смерти.

Верующие служат панихиды, а я в память мамы хожу в лес, и там, живая среди живых деревьев, думаю о ней, живой, научившей меня видеть, слышать, понимать, чувствовать. Даже не думаю, а как-то сердцем, всей собой близка к ней.

Л.В. (*поднимаясь*) Дорогая Аля, уже стемнело, мне пора идти. Я давно ни с кем так долго не разговаривала, тем более о Марине Ивановне... Тяжело, я очень устала. Вы, наверное, тоже. В заключение – не приведи Господи! – скажу последнее, чтобы не забыть.

Тогда, в Голицыне – в её комнатке, под Новый год или после, когда он уже наступил – теперь не помню точно, нам надо было идти на ужин, мы оделись, вышли, и на небе уже показались звезды. Марина Ивановна сказала – и эти ее слова врезались в память: «Дай Бог – всего хорошего, чего нету, и сохрани Бог – то хорошее, что есть. А есть – всегда, –

хотя бы тот моральный закон внутри нас, о котором говорил Кант. И – звездное небо!»

А. Спасибо Вам, что запомнили! Я прекрасно понимаю, о каком законе говорит мать. Я Вам тоже скажу свое последнее: однажды было так – осенним беспросветно-противным днем мы шли тайгой, по болотам, тяжело прыгали такими усталыми ногами с кочки на кочку, тащили опостылевший, но совершенно необходимый скарб, и, казалось, никогда в жизни не было ничего, кроме тайги и дождя, дождя и тайги. Ни одной горизонтальной линии, все по вертикали – и стволы, и струи, ни неба, ни земли: небо – вода, земля – вода. Я не помню того, кто шел со мною рядом – мы не присматривались друг к другу, мы, вероятно, казались совсем одинаковыми, все. На привале он достал из-за пазухи обернутую в грязную тряпицу горбушку хлеба – надо знать, что такое для нас был хлеб! – в войну мы работали без единого выходного, а харч нам сократили вдвое. Он разломил горбушку пополам и стал есть, собирая крошки с колен, каждую крошку, потом напилсь водички из-под коряги, а половину горбушки опять за пазуху. Потом снова сел рядом со мной, большой, грязный, мокрый, чужой, чуждый, равнодушный, глянул – молча полез за пазуху, достал хлеб, бережно развернул тряпочку и мне: «На, сестрица!», подал свои полгорбушки, а крошки с тряпки все до единой поклевал пальцем и в рот – то есть сам был голодный. Вот тогда, Людмила Васильевна, я даже слов не нашла, кроме одного – спасибо, но тогда и мне сразу стало понятно, что в жизни есть, было и будет все, все – не только дождь и тайга. И что есть, было и будет звездное небо над головой и земля под ногами.

Провожая Л.В. к выходу, А. попутно зажигает настольную лампу, свет которой лег на портрет М.И. с Алей, оставляя всю обстановку почти в темноте

До свидания, Людмила Васильевна! Я на прощанье вот что еще скажу.

Никогда в жизни я никого так не любила, как маму – ни отца, ни брата, ни мужа, а детей у меня никогда не было. Я любила маму всегда, но было время, в молодости, когда я хотела эту любовь со вместить со всякими там мальчиками, девочками, с кино и с прочим, а мама презирала мою неразборчивость. Я ведь из дома уходила – настолько тогда мама была мне не под силу, и нужно было столько пережить и перестрадать, чтобы дорасти до понимания собственной матери!..

И самое распоследнее: однажды у нас на даче, еще в Болшеве, помню, мама сидит на своей постели (не постель, а вроде диванчик) и смотрит на свою ладонь, близко поднеся её к лампе – такой же матовый шар, как здесь. И говорит нараспев не просто с шутиливой улыбкой, но и с оттенком торжества в голосе:

«А я буду до-олго жить, линия жизни у меня опять же длинная, я вас всех переживу». – А как она была права! Она будет долго жить, и всех переживёт она, умершая, нас, ещё живых.

Обе выходят. На столике остается освещенный портрет.